



Монгольский художник Гунга. Шаман.
Вторая половина XX века

ОЧИРЫН НАМСРАЙЖАВ: МОИ ВСТРЕЧИ **(Лев Гумилев, Анастасия Цветаева, Юрий Рерих)**

Редакция журнала предлагает читателям воспоминания Очирын Намсрайжав (1915-2004), известной деятельницы международного женского движения. Она родилась в Монголии, но почти 20 лет прожила в Советском Союзе, в наиболее тяжелое для страны историческое время, период Второй мировой войны и сталинских репрессий. После войны Очирын Намсрайжав возвратилась в Улан-Батор, работала на государственной службе, способствовала развитию дипломатических отношений с Японией и Китаем.

Очирын Намсрайжав прошла долгую незаурядную жизнь, ее судьба тесно переплелась с русской культурой. Она хорошо знала многих представителей российской интеллигенции, среди которых были высокие советские руководители, крупные ученые и дипломаты. Ее связывала дружба со Львом Николаевичем Гумилевым, Анастасией Ивановной Цветаевой, Юрием Николаевичем Рерихом, Ниной Петровной Туполевой (женой брата известного авиаконструктора), др.

Публикуемые воспоминания были записаны в Монголии, в Улан-Баторе, в 2001 году и дополнены позже самой Намсрайжав. В настоящее время редакция получила ряд других интересных материалов — биографический очерк, написанный дочерью Очирын Намсрайжав, письма Ю.Н.Рериха к ней и ее письма к Л.Н.Гумилеву. Письма к Гумилеву хранятся в музее-квартире ученого в Санкт-Петербурге. Некоторые из них приведены на страницах журнала как приложение к воспоминаниям.

* * *

Это было очень давно, еще до войны. Летом 1936-го из Монголии послали несколько человек в Санкт-Петербург, в то время Ленинград, тогда открылась специальная аспирантура для монголов. Нас было не так много, всего четверо: Цэндэйн Дамдинсүрэн, Гомбожав, я и еще один человек. В первый год пребывания, конечно, изучали русский язык и основы марксизма-ленинизма. Один из нас, Гомбожав, до этого учился в Париже (в то время посылали монголов и в Париж, и в Германию) и там привык к парижскому образу жизни. На занятиях по марксизму он всегда спрашивал: «А могу ли я выйти на улицу и крикнуть: долой советскую власть?» Мы страшно боялись, начинали пинать его под столом ногами, чтобы он замолчал. А он говорил: «Ну, это ж естественно. В Париже, например, можно. А здесь — можно или нет?» Преподаватель был в ужасе и не мог ничего ему ответить. Он же не мог сказать — нет, нельзя... Новая конституция тогда вышла, сталинская. Вот так проходили наши занятия. Потом наступил 1937 год. И этот человек, который всё время задавал вопросы, конечно, был арестован и препровожден далеко в Сибирь, где он и умер. Ну, а остальные ничего ни у кого не спрашивали, не говорили лишнего и поэтому остались в живых.



Очирын Намсрайжав. 1950

В то время президентом Академии наук был Владимир Леонтьевич Комаров. Он же возглавлял Монгольскую комиссию и часто с нами встречался. Вообще тогда было очень много замечательных ученых. Например, Казакевич — видный монголовед. Цыбен Жамцарано жил в Ленинграде, мы его очень хорошо знали, часто бывали у него. Зоя Лебедева, геолог, Петр Стенгачковский, Иван Петрович Рачковский, известные ученые того времени, Александр Николаевич Самойлович, директор Института востоковедения... Словом, очень интересные люди. И была замечательная Библиотека Академии наук. Мы часто ходили в БАН. Однажды в каталоге я обнаружила книгу «Черная вера или шаманство у монголов и другие статьи Доржи Банзарова», изданную в 1891 году под редакцией Г.Н.Потанина. Мы были слышаны об ученом Доржи Банзарове, окончившем в 1847 году Казанский университет, но никогда прежде книгу его в руках не держали, в Монголии этой книги не было. И я решила ее переписать. Приходила каждый день в библиотеку, брала книгу и быстро-быстро переписывала. Так и переписала всю книгу.

И вот, когда я сидела там и переписывала, пришел как-то Лев Гумилев. Тогда он был молодым, красивым сероглазым юношей. Увидел меня и говорит: «Вы переписываете книгу? Я учусь на историческом факультете университета и тоже очень интересуюсь историей Монголии. Эту книгу я знаю, читал... Когда вы думаете закончить?» Я ответила: «Ну, думаю, что скоро». Он тоже каждый день приходил в библиотеку, мы с ним всегда разговаривали и прогуливались около университета.

В то время монгольские аспиранты занимались по индивидуальным планам. По распоряжению профессора Жамцарано или академика Комарова, точно не помню, меня послали в Эрмитаж к директору Орбели. Он весьма учтиво принял меня и распорядился выдать пропуск в музей — я должна была знакомиться с экспонатами из Ноин-Улы, привезенными экспедицией Козлова. Ежедневно я приходила в Эрмитаж и рассматривала ноин-ульские экспонаты, но по наивности или, может быть, по глупости, как это часто бывает в молодости, очень скоро перестала интересоваться Ноин-Улой и снова стала посещать БАН, чтобы закончить переписывать книгу Доржи Банзарова.

Мы опять встречались со Львом Гумилевым, гуляли по Университетской набережной, как-то раз даже посетили Кунсткамеру. Ходили по каким-то улочкам, вспоминали Достоевского, может быть, он тоже по этим улицам ходил... Много говорили о Пушкине, так как приближалось столетие со дня его смерти. И однажды (это было в ноябре 1936 года) Гумилев мне сказал: «Вы знаете, я очень влюблен в вас...» А я была молодая, глупая, и отвечала, что не знаю, можно ли это... Что мы занимаемся здесь марксизмом-ленинизмом, русским языком. Я не знала, что ему сказать. А он повторил: «Я люблю вас, Намсрайжав, и пишу поэму о вас. Посвящение к поэме пошлю вам по почте». Вскоре я получила это «Посвящение». Мы жили тогда на Петроградской стороне, в Доме аспирантов Академии наук. И Гумилев прислал мне туда письмо, точнее, пакет со стихами. К сожалению, они не сохранились. В апреле 1938-го при аресте моих близких всё было конфисковано, в том числе «Посвящение» к поэме Льва Гумилева и мой портрет, который написал русский художник Василий Беляев в 1932 году в Москве. Из «Посвящения» сохранилось в памяти только несколько строк: *Чтоб навек не остаться угрюмым, / Чтобы стать веселей и нежней... / Чтобы пеньё мое и томленьё / На минуту припомнила ты, / Возвращаю тебе отраженье / Чужеземной твоей красоты...*

Когда мы снова встретились, он спросил: «Вы получили? Я ответила: «Да, получила». Он сказал: «Знаете, я пишу о вас поэму. И когда закончу, пошлю ее вам...» Вскоре Гумилева арестовали. В то время он был на четвертом курсе.



Лев Гумилев. 1934

Много лет не было о нем никаких известий. Встретились мы лишь в 1970 году в Москве. При встрече Наталья Викторовна, жена Л.Н.Гумилева, сказала мне: «Вы знаете, он однолюб и всю жизнь любил только вас. Знали ли вы об этом? И теперь он очень рад, что с вами встретился. Он говорил матери, Анне Ахматовой, что любит одну монголку». Меня зовут Намсрайжав, это очень сложно, по-тибетски. Ахматова спрашивала, как ее зовут, эту монголку. Он отвечал: «Ее зовут Намсрайжав». И она говорила: «Лёвушка, ну какое же это странное имя!» Лев Николаевич рассказывал об этом своей жене, а она мне пересказала.

Потом Наталья Викторовна ушла, оставив нас одних, и мы поведали друг другу о том, что произошло с нами за прошедшие тридцать с лишним лет. Вспоминали наши встречи в 1936 году, и Лев Николаевич сказал: «Если бы мы тогда поженились, у нас были бы дети... Когда я вернулся в Ленинград, то много раз пытался разыскать, найти вас, спрашивал у монголов, но они ничего не говорили о вас». Наши монголы, действительно, рассказывали, что какой-то человек всё время спрашивает обо мне. Я просила их дать ему мой почтовый адрес, но никто не удосужился это сделать, и нам не суждено было встретиться или переписываться до 1970-х годов.

В 1972 году я послала Льву Николаевичу частное приглашение. Когда я приглашала его приехать в Монголию, он всегда писал мне: «Софья Власьева не разрешит мне приехать...» Вы, должно быть, знаете, что это значит — «Софья Власьева»? Это Советская власть. Так и было, ему не разрешили. Поэтому мы только переписывались. 28 августа 1972-го он мне написал: *Я понял, что я заблудился навеки / В пустых переходах пространств и времен, / А где-то струятся родимые реки, / К которым мне путь навсегда запрещен.*

Встретились мы еще раз в Ленинграде в 1982 году. Гумилев жил тогда в коммунальной квартире на Коломенской улице. Лев Николаевич снова сожалел, что мы не поженились в 1936 году, а я слабо пыталась объяснить, что в то время нам всё равно не разрешили бы пожениться... Он подарил мне две своих фотографии. Это была наша последняя встреча. Но мы писали друг другу. Лев Николаевич присылал мне свои статьи и книги с трогательными надписями. На книге «Открытие Хазарии» он написал: *«В память светлой встречи в 1936 г. накануне великих бед милой Намсрайжав от автора»*. На книге «Поиски вымышленного царства»: *«Золотой зарнице Востока Намсрайжав Очири от осколка западных монголов, не забывшего доблести предков. Арслан (Лев)»*. На книге «Хунны в Китае»: *«Восточной звезде Намсрайжав Очири. Арслан (Лев)»*. На всех его книгах, полученных мною, подобные надписи.

В мае 1992 года, возвращаясь из Лондона, я позвонила в Санкт-Петербург. Лев Николаевич был уже очень болен. Сказал: «Дни мои сочтены. Я послал Вам письмо...» В последнем письме Льва Николаевича было написано: *«Я очень искренно Вас Любил. Знайте это, ибо я вижу конец. Ваш верный Арслан. Целую Ваши руки. Лев Гумилев»*.

Когда я познакомилась со Львом Николаевичем, мне было 20 лет. Мы очень подружились. Но я же была из Монголии, тогда это считалось за границей, и нам, монголам, говорили, что мы должны вести себя в другой стране скромно...

Надо сказать, мне повезло в жизни, я видела столько интересных людей, начиная со Льва Давидовича Троцкого. Я приехала в Россию в 1929 году. Это был конец НЭПа. Мы жили в то время «по Троцкому», Сталин тогда еще не появился. И Троцкий владел умами молодежи. Мы часто видели его на площади. Тогда же всё было просто. Не было никакой охраны. Как и все люди, так называемые вожди просто

ходили по улицам. Учиться меня определили в начальную школу МОПШ — Московскую опытную показательную школу им. Калинина, в которой учился сын Марии Кудашевой, жены Романа Роллана. Еще у нас учился племянник Владимира Ильича.

Был такой Григорий Наумович Войтинский, старый революционер. Его жена Мария Кузнецова очень долго сидела в царских тюрьмах, застенках, как мы сейчас говорим, и болела туберкулезом. А Войтинский был приговорен в царской России к высшей мере наказания и бежал через Сибирь в Америку. После Февральской революции он вернулся. И вот эта семья меня воспитывала. Это были замечательные люди. Войтинский встречался с Сунь Ятсеном, есть его статьи, в старых газетах, конечно, — «Про мои встречи с Сунь Ятсеном».

В то время как нас воспитывали? Мы страшно боялись быть буржуями. Это ужасно — быть буржуем, это самое страшное наказание. Поэтому нас учили, что нельзя шикарно одеваться, нельзя копить деньги, ничего нельзя — только хорошо работать и быть верными. Вообще нас учили тогда скромности во всем. Боже упаси было одеть что-нибудь не то, вызывающее!

У меня была буддийская ладанка. По дороге в Москву я очень сильно простудилась, пришел врач и увидел на мне эту ладанку, хотел было выбросить, а я как схватила ее и спрятала. Так что она у меня сохранилась.

Вот так я и выросла — в архикоммунистической семье, где меня учили, что нельзя наряжаться, а надо быть деловой и работать как можно лучше. Я хорошо окончила школу, русский язык мне давался легко. Начальная школа — года три, наверно. У нас был замечательный русист — Анна Петровна Алексич, известный методист, все у нее учились. Вообще у нас были очень хорошие педагоги. В школу приходила сестра Владимира Ильича, и мы говорили племяннику Ленина: «Витя, к тебе тетя пришла».

Время было голодное, мы страшно голодали, несмотря на то что получали кремлевский паек. Но это бывало один раз в месяц. Икра, немножко масла и еще что-то. А коммунисты получали по максимуму — на 310 рублей. Ну, это ведь действительно были настоящие, хорошие коммунисты. Сейчас все говорят, что коммунисты такие-сякие, но я очень благодарна тем коммунистам, которые меня вырастили, воспитали. У меня совершенно нет зависти к людям. Я работала в МИДе и имела прекрасные отношения со всеми, никогда людям не завидовала. Потому что нас учили, что завидовать людям гадко и стыдно. Такая коммунистическая мораль была. Так я и старалась жить...

В 1941 году, когда началась война, я находилась в Москве. У меня был монгольский паспорт. Жила я тогда очень далеко от центра, в Сталинском районе, в Кунцево, где завод «Электросила». И когда я пришла в наше посольство на Фрунзенскую набережную, там никого уже не было. Шли бомбежки, это был июль. Оставался только сторож, который мне сказал: «Все уже уехали. Наверно, только вы одна и остались, да вот сегодня еще один какой-то монгол приходил. Они все уехали в Куйбышев». Словом, весь дипкорпус был переведен. Тогда я пошла в ОВИР. Там мне сказали: «Знаете, мы тоже сейчас эвакуируемся, а вам надо ехать на Дальний Восток, потому что в Монголию вы не попадете. В Куйбышев нельзя, у вас визы нет». И так как в те времена мы были очень законопослушными, то раз ОВИР написал: «В Амурскую область», то я и поехала на Дальний Восток.

Когда я туда добралась, мне надо было сразу там в милиции прописаться. Они страшно испугались: «В Хабаровском крае нет ни одного иностранца, кроме вас, зачем вы сюда приехали?» Я сказала: «Но мне так написали, вот...» В то время о Монголии никто ничего не знал, и поскольку у меня такое восточное лицо, они



Очирын Намсрайжав и Анастасия Цветаева

всё время считали, что я, может быть, шпионка — японская или еще чья-то. Ну и поселили меня около лагерей ГУЛАГа. Сказали, что мне никуда нельзя выезжать и надо отмечаться каждый месяц, пока не придет какое-то «личное дело». А там это очень сложно, надо было ехать очень далеко, в небольшой поселочек Чекунда, где находилась эта милиция, летом по реке Бурее, а зимой просто идти пешком.

Да, надо сказать, чего я только не навиделась из-за своего монгольского паспорта! Ну и поскольку я была законопослушной, то всё время ездила и отмечалась. И каждый раз спрашивали: «Где ваше личное дело?» А я понятия не имела, какое личное дело. Потом оно всё-таки пришло из Москвы, потому что в ОВИРе знали, что они меня отправили в Амурскую область.

Так я прожила около лагерей шесть лет и там в 1943 году познакомилась с Анастасией Ивановной Цветаевой, сестрой Марины. В то время она отбывала срок в лагерях. У Анастасии Ивановны была статья 54-10, по-моему, агитация против советской власти, но всё-таки ей разрешалось ходить свободно по лагерю. Мы с ней очень дружили. Встречались ежедневно, летом и осенью подолгу сидели за зданием школы, где никто не мог нас обнаружить.

Во время Второй Мировой войны мало кто был знаком с творчеством Марины Цветаевой. Анастасия Ивановна рассказывала об их детстве, юности, как они вдвоем читали в унисон стихи Марины, какие люди тогда их окружали, как они бывали в Коктебеле у Максимилиана Волошина, как Марина познакомилась там с Сережей Эфроном. Рассказала о гибели Марины в Елабуге в 1941 году, об исчезновении сына ее Георгия на войне. Говорила, что узнала обо всем из писем друзей. С Анастасией

Ивановной ежедневно говорили о Марине, вместе горевали о ее тяжелой судьбе, о судьбе Сергея Эфрона, их дочери Али и сына Георгия (Мура). Анастасия Ивановна помнила ранние стихи Марины и, записав их в небольшую тетрадь, отдала мне на хранение, говоря: «Ведь кто-то когда-то будет же читать стихи Марины!»

О себе Анастасия Ивановна рассказывала, как одно время увлекалась богословием, как гостила у Горького в Италии. Много рассказывала о Борисе Пастернаке, с которым у нее была переписка. Добрейший человек, она делилась со мной своим куском черного арестантского хлеба — во время войны все испытывали большие трудности с едой, с хлебом, летом мы питались лебедой...

Когда Анастасию Ивановну освободили и она вернулась в Москву, я сразу же отправила ей тетрадь со стихами Марины, и она была очень благодарна. Потом мы с ней встречались в Москве, много говорили, вспоминали нашу жизнь в Известковой и Тьрме, наших друзей, отбывавших срок в лагере: бывшую актрису Малого театра Урусову, артиста Геркена, врача Дитерихса, Этчина — бывшего секретаря наркома иностранных дел Чичерина, и многих других. В Москве Анастасия Ивановна ходила в таком старинном салопе — где-то нашла в своих сундуках. И поэтому, когда мы с ней ходили вместе, все на нас страшно смотрели. Она была очень веселым человеком и всегда смеялась, что мы обе так странно выглядим — несовременно, а я еще и не по-русски. Дома у нее всегда были какие-то молодые люди и молодые девицы, неизвестно чем интересовавшиеся. Когда я приходила, Анастасия Ивановна, не обращая никакого внимания на присутствующих, вдруг обращалась ко мне с вопросом: «Иночка, а вы не помните, кто у нас в лагерях был оперчком?» Я ей отвечала: «По-моему, был товарищ Карелин», или кто-то еще. А она: «Ах, да, да!» И молодые люди очень удивлялись, что это за «оперчек», в наше время уже никто не знал, что это такое.

В одну из наших встреч в Москве Анастасия Ивановна подарила мне алюминиевый крестик, может быть, работы лагерного умельца, я его свято храню. Храню и письма, которые она писала, когда мы расстались на Дальнем Востоке, книгу ее воспоминаний, номера журнала «Москва» за 1990 год с ее романом «Апог», статьи, которые она мне дарила.

В Монголию я вернулась в 1947 году, всю войну прожила на Дальнем Востоке. И когда я приехала в Улан-Батор, то тоже все снова решили, что я шпионка. Без конца меня вызывали в КГБ. Один русский генерал спрашивал меня: «Откуда вы приехали?» Я отвечала: «С Дальнего Востока». — «Зачем, почему вы там жили? Что вы там делали?» Я говорю: «Меня послали... Я там работала». — «А где это видно, что вы работали? Вообще-то ваше место в тюрьме». Вот так он мне сказал, а я ответила: «Ну, пожалуйста. Если есть такой закон, что меня можно посадить, то посадите. Я согласна». Тогда он как закричит: «Вон!» Так страшно он крикнул, этот генерал, что его секретарь даже не выдержал и выбежал из комнаты.

И долго еще, до самого хрущевского доклада, всё время была в шпионках — то немецкой, то японской... Прямо так и говорили. Был у нас горком — городской комитет партии. Я, конечно, была беспартийной. Так вот, секретарь горкома при всех заявил: «Она шпионка, с ней надо быть очень осторожным». Мне открыто это передали. Я пошла к нему и как стукну кулаком по столу! Поскольку я давно в России жила, то усвоила эту русскую привычку! Он сразу же обеспокоился и спрашивает: «Что с вами?» Я говорю: «Почему, зачем вы, секретарь горкома, говорите обо мне, что я шпионка? Откуда вы это знаете?» Он, конечно, отрицал, что говорил, но я настойчиво требовала ответа, ведь мне надо было где-то работать... И так продолжалось много лет. Даже когда я работала в МИДе, всё время прослушивали мой

телефон. Они думали, что я этого не знаю, а я всё время слышала щелчки, когда утром в 8 часов они подключались и ночью отключались. Но о чем я могу говорить и с кем?

Еще я хорошо знала Юрия Николаевича Рериха, русского ученого-востоковеда, сына замечательного художника. С давних пор я интересовалась живописью Николая Рериха, особенно любила его картину «Небесный бой» (она находится в Русском музее в Санкт-Петербурге). Наш известный ученый и писатель Дамдинсурэн переписывался с Юрием Николаевичем, когда он жил еще в Индии, в Каллимпонге. Однажды мы написали Юрию Николаевичу вместе, упомянули Н.К.Рериха, его замечательные произведения, и вскоре я получила письмо с небольшими репродукциями уже гималайского периода. Потом Юрий Николаевич приехал в Монголию. Это было летом 1958 года, еще до Конгресса монголоведов. Мне сразу сообщили по телефону, что в Улан-Батор приехал Рерих, хочет со мной встретиться. И 31 июля Юрий Николаевич посетил мой скромный дом. Подарил мне «Каталог выставки произведений академика Н.К.Рериха». Жили мы тогда очень бедно, была у нас комнатка, и в ней почти одни только книги. Юрия Николаевича сопровождал доктор Бира*, которого я мало знала. Юрий Николаевич говорит, что очень рад меня видеть, получал мои письма, спрашивает, получала ли я его письма. Я говорю: «Да, да, спасибо большое». В то время, знаете, как всё было, я страшно боялась. Он же пришел не один, а с Бирой. Потом Юрий Николаевич спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а когда арестовали профессора Жамцарано**?» Боже мой! Я всё это знала, всё помнила, это был 1937 год, 4 августа. Но я так боялась этого Бира, что ничего не могла сказать и только неопределенно отвечала: «Да, кажется, в таком-то году...» Тогда Юрий Николаевич спрашивает: «А Николая Николаевича Поппе*** вы знали?» Конечно, я его очень хорошо знала. Он приглашал меня в театр, мы с ним ходили. Он был коллаборационистом и ушел из Калмыкии вместе с немцами. Это был очень приятный человек, несмотря на то что он ушел. И как ученый — тоже выдающийся. Но на вопрос Рериха я не стала говорить о Поппе, сказала только: «Вы знаете, я точно не помню». Тогда это было очень страшно. Поппе считался врагом, поэтому я не стала говорить о театре и другие подробности. А Николай Николаевич всегда мне посылал приветы через Дамдинсурэна. Когда он жил в Америке, письма-то приходили, и он всегда писал: «Передайте привет...» Ну и я, конечно, просила Дамдинсурэна передавать ему приветы от меня. Вот Юрий Николаевич меня всё спрашивал, кого, где, когда арестовали. А я тогда ничего ему не могла сказать, абсолютно ничего. Он, наверно, удивлялся, что я вот так ничего не говорю, а всё молчу. Я ведь не знала, кто такой этот Бира, а тогда все мы ходили под одним Богом. Да что там говорить об этом... Обо мне и так писали всякую чушь. Если посмотреть, досье, наверно, вот такое толстенное на меня.

* Шагдарын Бира (р. 1927), академик Монгольской Академии наук. В 1957 г. аспирант Ю.Н.Рериха в Институте востоковедения АН СССР.

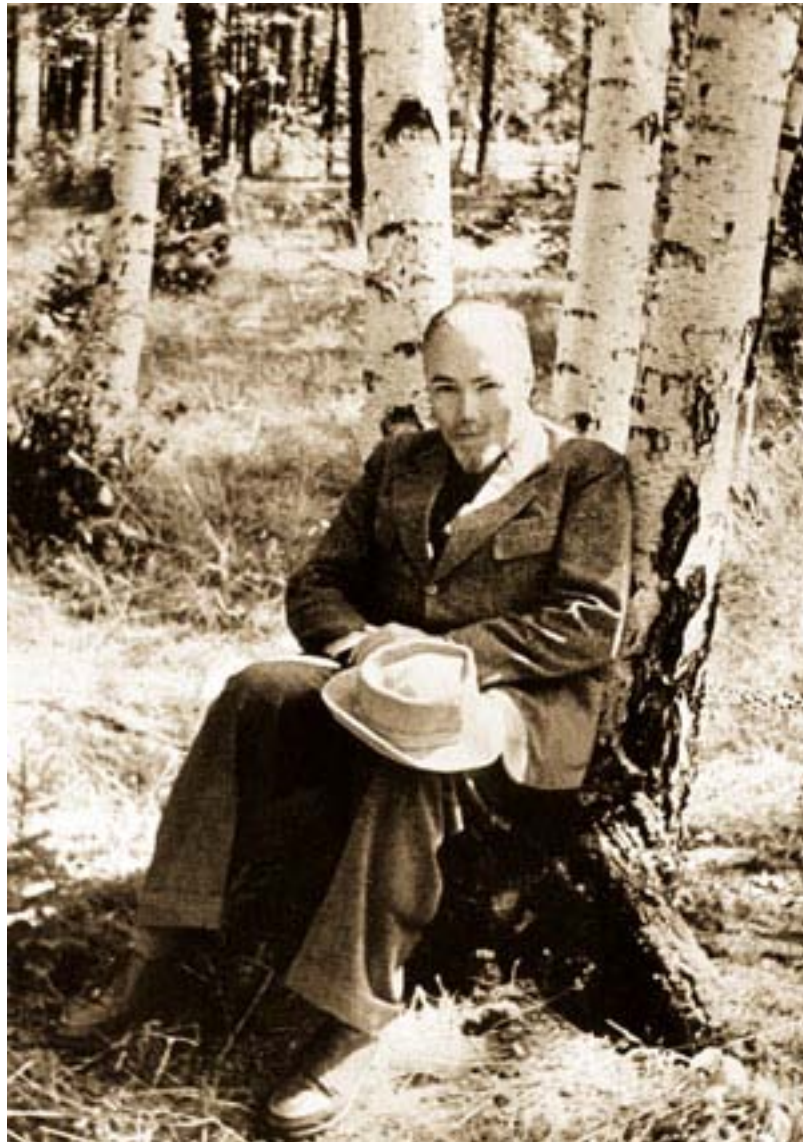
** Жамцарано Цыбен Жамцаранович (1880-1942), монголист, организатор науки в МНР. В 1926-27 гг. в Улан-Баторе помогал в организации Тибетской экспедиции Н.К.Рериха. Арестован в 1937 г. в Ленинграде по обвинению в «панмонголизме» и расстрелян.

*** Поппе Николай Николаевич (1897-1991), советский ученый, автор многочисленных исследований, посвященных монгольскому и бурятскому языкам. В 1943 г. эмигрировал в Германию, затем, в 1949 г., переехал в США.

Потом я встретила Рериха в 1960 году. Так получилось, что вдруг послали делегацию монгольских женщин в Копенгаген на какой-то Конгресс. Меня туда включили совершенно случайно. У меня были друзья-художники — Вога и Чортен, оба они уже покойные, Чортен умер совсем недавно. И вот, надо было устроить там какую-то женскую выставку, и Чортен сказал: «Она подходит, потому что знает, как что расположить, она сделает хорошую выставку». И там, в ЦК, кто-то записал меня, так я прошла, меня утвердили. Я была страшно удивлена тем, что еду на Конгресс в Копенгаген, но очень рада. Незадолго до этого в Монголию приезжали какие-то женщины-индуски, а я знала немного английский. Они спросили: «Сколько жителей в Улан-Баторе?» Ну, в то время было около 360 тысяч человек, я так и сказала. И кто-то тут же донес на меня, что она, мол, выдает секретные данные иностранкам. А еще они спросили, читаю ли я американских писателей. Я ответила, что да, читаю Хемингуэя. И это тоже донесли: вот, она читает американских писателей, сама так сказала. И когда эти индуски уехали, женщины собрались, а председатель говорит: «Знаешь, мы тебя не пошлем. Ты сообщила секретные сведения тем индускам». Я говорю ему: «Да вы посмотрите, везде написано, что в Москве столько-то жителей, в России — столько-то, в Лондоне — столько-то, и в других городах тоже! Это же не секрет». — «Ну, мы не знаем. И тебя никто не уполномочивал говорить, сколько жителей в Улан-Баторе. И потом, ты почему читаешь этого... Хемингуэя?» А я говорю, что Микоян недавно был в Америке и даже встречался с ним. И рассердилась сама: «Ну, теперь и посылать будете, так я никуда не поеду». Но потом меня вызвали и сказали: «Надо ехать. Ты повезешь выставку». Я говорю: «Ну хорошо, хорошо», и пошла готовиться. Когда же увидела, из чего состоит эта выставка, то чуть не упала! Там были какие-то платочки, которые прислали районные женские организации, причем такой грязноты, в пятнах, что просто страшно, не отстирать. Это было время такое, 1960 год. «Неужели больше ничего нет?» — спросила я. «Нет, нет, у нас есть еще портрет Чойбалсана, потом герб надо вывесить...» Я сказала: «Ладно, хорошо», — и повезла.

Но там были люди, которые тоже всё время подозревали меня в шпионаже и следили за мной. Пришла японская делегация, разговаривают, хотят посмотреть, что это там за монголы. Говорят: «Давайте споем песню». — «Давайте, а какую?» — «Харакора». Это была очень известная песня. Я ее знала и спела. Боже, что тут случилось! «Она действительно шпионка, она поет японскую песню!» А это очень, очень известная песня, там описывается старый замок, он был разрушен, когда самураи воевали, и теперь при лунном свете виднеются его развалины, а сейчас весна и т.д., как это обычно бывает в японской поэзии. Никакой там политики не было. Потом пришли американцы. Они обычно на всех таких мероприятиях поют одну старую шотландскую песню. Ее я тоже знала, спела с ними и стала уже американской шпионкой. А эту песню везде пели, везде, но никого нельзя было переубедить.

Возвращались мы через Москву. Туда как раз приехал с визитом Самбу Жамсарангийн, председатель Президиума Великого народного хурала МНР, и для него организовали прием в Кремле. Нашу женскую делегацию тоже пригласили. Я впервые оказалась в Большом Кремлевском дворце. И там встретила Юрия Николаевича. Тогда я ему и объяснила, что при первой встрече в Монголии ничего не могла рассказать, потому что очень боялась Биры. Юрий Николаевич удивился: «Чего же вы его боялись? Он мой ученик». А я сказала: «Все мы под одним Богом ходим». Не знаю, понял он меня или нет. Наверное, понял, потому что мы с ним так хорошо тогда поговорили. Это было весной, в конце апреля, а в мае он умер.



Юрий Николаевич Рерих. Конец 1950-х

Он говорил, что идет кампания против Ринчена*, собирают подписи, все академики дают свои подписи против него. Считается, что он был первым диссидентом в Монголии. Ринчен переписывался со многими учеными. Юрий Николаевич сказал: «Сейчас идет сбор подписей против Ринчена, но я не подписал. Ко мне приходили...» В то время вышла «История Монголии». И какой-то ученый, академик, сказал: «Доктор Ринчен, сейчас вышла “История Монголии”». А он молчит. «Вы читали?» А Ринчен в ответ: «Это г...!», повернулся и ушел. Академик страшно удивился. Ну, тут и началась травля.

«Вы знаете, — добавил Рерих, — я думал, что в России мне будет хорошо, но оказалось... Меня угнетает, что когда я прихожу в Институт востоковедения, то должен повесить какой-то номерок, а уходя — должен повесить другой номерок. Это меня убивает. Это ужасно! Я так хорошо жил в Калимпонге, там видны были горы... Но здесь, в России, мне очень трудно. Я думал, может быть, в Монголии несколько лучше». Я хотела ему сказать, что у нас то же самое, даже хуже, но не стала говорить. Он сказал: «Очень мне трудно... И потом, дали мне такую маленькую квартиру — книги мои не вмещаются. Я же привез сюда все свои книги, а они не вмещаются».

Еще мы тогда во Дворце Съездов поговорили с Юрием Николаевичем про его жизнь, как он живет, что делает сейчас, что пишет.

Одет Юрий Николаевич был очень по-старинному: у него был казакин, или даже френч, типа военного, цвета хаки, и сапоги желтые. И это всех удивляло. Первое, что поражало в нем, — несовременный вид. Мне Юрий Николаевич очень понравился, прекрасный человек, замечательный ученый. Я читала потом его книги, о путешествии в Тибет — «По тропам Срединной Азии», и «Избранные труды». Кроме того, я очень давно любила работы его отца, Николая Рериха. Я видела их в Ленинграде и на других выставках.

И Лев Николаевич тоже хорошо ко мне относился еще и потому, что я знала и любила стихи его отца, поэта Николая Гумилева. Многие из них я знала наизусть, да и теперь еще, наверное, помню. Н.С.Гумилев, будучи в Париже в 1917 году, написал цикл стихотворений, который назывался «Синяя Звезда». И мне нравилось, когда Лев Николаевич называл меня Синей Звездочкой. Но это такое личное... Как-то он мне сказал: «Вот если бы мы тогда поженились, у нас были бы дети. А так — род закончился. Род Цветаевых, Ахматовых и Гумилевых закончился. Вот если бы у нас были дети...» Но тогда его сразу арестовали, и ничего не произошло. Так что не нужно об этом говорить. Жена его, Наталья Викторовна, сказала: «Он очень вас любил, всю жизнь, он же однолюб. Я вас оставлю. Вы поговорите, а я ухожу». Вот тогда мы сидели и говорили. Тогда-то он и сказал о детях. Но мне, знаете, тоже было очень трудно с ним говорить. Я ушла. В последних письмах ко мне Лев Николаевич всё время спрашивал, счастлива ли я в этой жизни. Писал: «Я вас любил искренно...» Теперь остались у меня его книги, написанные столь блестящим русским языком, каким мог писать только сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой.

Хотелось бы побывать в Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге, где покоится прах Льва Николаевича Гумилева, возжечь курения, но, к сожалению, это так же трудно для меня, как бедному мусульманину совершить хадж в Мекку...

* Ринчен Бямбын (1905-1977), монгольский писатель, ученый, автор научно-художественных книг, посвященных историческому прошлому монголов. Муж старшей сестры Очирын Намсрайжав.